Виктор Петрович
АСТАФЬЕВ
1924 – 2001

Виктор
АСТАФЬЕВ

Царь-рыба

*Повествование
в рассказах*

АЗБУКА

Санкт-Петербург

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
А 91

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

Астафьев В.

А 91 Царь-рыба : повествование в рассказах / Виктор Астафьев. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. — 480 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-09056-9

Виктор Петрович Астафьев — классик русской прозы XX века, лауреат двух Государственных премий СССР, независимой премии «Триумф», Государственной премии России и других. Свою первую премию в 1978 году он получил за повествование в рассказах «Царь-рыба». Эта книга, подвергавшаяся жестокой цензуре и злой критике, принесла автору всенародное признание и остается по сей день одной из любимых для ценителей русской литературы. Нравственно-философское повествование об ответственности человека за все живое вокруг, о трудном и мучительном стремлении его к миру и гармонии в природе и в собственной душе.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

© В. Астафьев (наследники), 2018
© Оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014
Издательство АЗБУКА®

ISBN 978-5-389-09056-9

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Молчал, задумавшись, и я,
Привычным взглядом созерцая
Зловещий праздник бытия,
Смятенный вид родного края.

Николай Рубцов

Если мы будем себя вести как следует, то мы, растения и животные, будем существовать в течение миллиардов лет, потому что на Солнце есть большие запасы топлива и его расход прекрасно регулируется.

Халдор Шепли

БОЙЕ

По своей воле и охоте редко уж мне приходится ездить на родину. Все чаще зовут туда на похороны и поминки — много родни, много друзей и знакомцев — это хорошо: много любви за жизнь получишь и отдашь, да хорошо, пока не подойдет пора близким тебе людям падать, как падают в старом бору перестоялые сосны, с тяжелым хрустом и долгим выдохом...

Однако доводилось мне бывать на Енисее и без зова кратких скорбных телеграмм, выслушивать не одни причитания. Случались счастливые часы и ночи у костра на берегу реки, подрагивающей огнями бакенов, до дна пробитой золотыми каплями звезд; слушать не только плеск волн, шум ветра, гул тайги, но и неторопливые рассказы людей у костра на природе, по-особенному открытых, рассказы, откровения, воспоминания до темнозари, а то и до утра, занимающегося спокойным светом за дальними перевалами, пока из ничего не возникнут, не наползут липкие туманы, и слова сделаются вязкими, тяжелыми, язык неповоротлив, и огонек притухает, и все в природе обретет

ту долгожданную миротворность, когда слышно лишь младенчески-чистую душу ее. В такие минуты остаешься как бы один на один с природою и с чуть боязной тайной радостью ощутишь: можно и нужно наконец-то довериться всему, что есть вокруг, и незаметно для себя отмякнешь, словно лист или травинка под росою, уснешь легко, крепко и, засыпая до первого луча, до пробного птичьего перебора у летней воды, с вечера хранящей парное тепло, улыбнешься давно забытому чувству — так вот вольно было тебе, когда ты никакими еще воспоминаниями не нагрузил память, да и сам себя едва ли помнил, только чувствовал кожей мир вокруг, привыкал глазами к нему, прикреплялся к древу жизни коротеньким стерженьком того самого листа, каким ощутил себя сейчас вот, в редкую минуту душевного покоя...

Но так уж устроен человек: пока он жив — растревоженно работают его сердце, голова, вобравшая в себя не только груз собственных воспоминаний, но и память о тех, кто встречался на росстанях жизни и навсегда канул в бурлящий людской водоворот либо прикипел к душе так, что уж не оторвать, не отделить ни боль его, ни радость от своей боли, от своей радости.

...Тогда еще действовали орденские проездные билеты, и, получив наградные деньги, скопившиеся за войну, я отправился в Игарку, чтобы вывезти из Заполярья бабушку из Сисима.

Дядья мои Ваня и Вася погибли на войне, Костька служил во флоте на Севере, бабушка из Сисима жила в домработницах у заведующей портовым магазином, женщины доброй, но плодовитой, смертельно устала от детей, вот и просила меня письмом вызволить ее с Севера, от чужих, пусть и добрых людей.

Я многого ждал от той поездки, но самое знаменательное в ней оказалось все же то, что высадился

я с парохода в момент, когда в Игарке опять что-то горело, и мне показалось: никуда я не уезжал, не промелькнули многие годы, все как стояло, так и стоит на месте, вон даже такой привычный пожар полыхает, не вызывая разлада в жизни города, не производит сбоя в ритме работы. Лишь ближе к пожару толпился и бегал кой-какой народ, гундели красные машины, по заведенному здесь обычаю качая воду из лыв и озерин, расположенных меж домов и улиц, громко трещала, клубилась черным дымом постройка, к полному моему удивлению оказавшаяся рядом с тем домом, где жила в домработницах бабушка из Сисима.

Хозяев дома не оказалось. Бабушка из Сисима в слезах пребывала и в панике: соседи начали на всякий случай выносить имущество из квартир, а она не смела — не свое добро-то, вдруг чего потеряется?..

Ни обопнуться, ни расцеловаться, ни всплакнуть, блюдя обычай, мы не успели. Я с ходу принялся увязывать чужое имущество. Но скоро распахнулась дверь, через порог рухнула тучная женщина, доползла на четвереньках до шкафчика, глотнула валерианки прямо из пузырька, отдышалась маленько и слабым мановением руки указала прекратить подготовку к эвакуации: на улице успокоительно забрякали в пожарный колокол — чему надо сгореть, то сгорело, пожар, слава богу, на соседние помещения не перекинулся, машины разъезжались, оставив одну, дежурную, из которой неспешно поливали чадящие головешки. Вокруг пожарища стояли молчаливые, ко всему привычные горожане, и только сажей перепачканная плоскоспинная старуха, держа за ручку спасенную поперечную пилу, голосила по кому-то или по чему-то.

Пришел с работы хозяин, белорус, парень здоровый, с неожиданною для его роста и национальности продувной рожей и характером. Мы с ним и с хозяйкою крепко выпили. Я погрузился в воспоминания

о войне, хозяин, глянув на мою медаль и орден, сказал с тоской, но безо всякой, впрочем, злости, что у него тоже были и награды, и чины, да вот сплыли.

Назавтра был выходной. Мы с хозяином пилили дрова в Медвежьем логу. Бабушка из Сисима собиралась в дорогу, брюзжала под нос: «Мало имя меня, дак ишшо и пальня сплатируют!» Но я пилил дрова в охотку, мы перешучивались с хозяином, собирались идти обедать, как появилась по-над логом бабушка из Сисима, обшарила низину не совсем еще выплаканными глазами и, обнаружив нас, потащилась вниз, хватаясь за ветки. За нею плелся худенький, тревожно-знакомый мне паренек в кепочке-восьмиклинке, в оборками висящих на нем штанах. Он смущенно и приветно мне улыбался. Бабушка из Сисима сказала по-библейски:

— Это брат твой.

— Колька!

Да, это был тот самый малый, что, еще не научившись ходить, умел уже материться и с которым однажды чуть не сгорели мы в руинах старого игарского драмтеатра.

Отношения мои после возвращения из детдома в лоно родимой семьи опять не сложились. Видит Бог, я пытался их сложить, какое-то время был смирен, услужлив, работал, кормил себя, часто и мачеху с ребятишками — папа, как и прежде, пропивал все до копейки и, следуя вольным законам бродяг, куролесил по свету, не заботясь о детях и доме.

Кроме Кольки, был уже в семье и Толька, а третий, как явствует из популярной современной песни, хочет он того или не хочет, «должен уйти», хотя в любом возрасте, на семнадцатом же году особенно страшно уходить на все четыре стороны — мальчишка не переборол еще себя, парень не взял над ним власти — возраст перепутный, неустойчивый. В эти годы парни, да

и девки тоже совершают больше всего дерзостей, глупостей и отчаянных поступков.

Но я ушел. Навсегда. Чтоб не быть «громоотводом», в который всаживалась вся пустая и огненная энергия гулевого папы и год от года все более дичающей, необузданной в гневе мачехи, ушел, но тихо помнил: есть у меня какие-никакие родители, главное, ребята, братья и сестры, Колька сообщил — уже пятеро! Трое парней и две девочки. Парни довоенного производства, девочки создались после того, как, повоевав под Сталинградом в составе тридцать пятой дивизии в должности командира сорокапятки, папа, по ранению в удалую голову, был комиссован домой.

Я возгорелся желанием повидать братьев и сестер, да, что скрывать, и папу тоже повидать хотелось. Бабушка из Сисима со вздохом напутствовала меня:

— Съезди, съезди... отец всеш-ки, подивуйся, штоб самому эким не быть...

Работал папа десятником на дровозаготовках, в пятидесяти верстах от Игарки, возле станка Сушково. Мы плыли на древнем, давно мне знакомом боте «Игарец». Весь он дымился, дребезжал железом, труба, привязанная врастяжку проволоками, ходуном ходила, того и гляди отвалится; от кормы до носа «Игарец» пропах рыбой, лебедка, якорь, труба, кнехты, каждая доска, гвоздь и вроде бы даже мотор, открыто шлепающий на грибы похожими клапанами, непобедимо воняли рыбой. Мы лежали с Колькой на мягких белых неводах, сваленных в трюм. Между дощаным настилом и разъеденным солью днищем бота хлюпала и порой выплескивалась ржавая вода, засоренная ослизлой рыбьей мелочью, кишками, патрубок помпы забивало чешуей рыбы, она не успевала откачивать воду, бот в повороте кренило набок, и долго он так шел, натужно гукая, пытаясь выправиться на брюхо, а я слушал брата. Но что нового он мог мне рассказать

о нашей семейке? Все как было, так и есть, и потому я больше слышал не его, а машину, бот, и теперь только начинал понимать, что времени все же минуло немало, что я вырос и, видать, окончательно отделился от всего, что я видел и слышал в Игарке, что вижу и слышу на пути в Сушково. А тут еще «Игарец» булькал, содрогался, старчески тяжело выполнял привычную свою работу, и так жаль было мне эту вонючую посудину.

Я раскаиваться начал, что поехал в Сушково, но дрогнуло, затрепыхалось сердце, когда возле одиноко и плоско стоявшего на низком берегу барака увидел я косолапенького, уже седого человека, чисто выбритого, с пятнышками усов-бабочек под чутко и часто шмыгающим носом. Нет, пока еще никто и ничто не отменило, не побороло в нас чувство, занимающее место в сердце помимо нашей воли. Сердце прежде меня почуяло, узнало родителя! Чуть в стороне, на зеленом приплеске топталась все еще по-молодому стройная женщина со сбитым на затылок платком. К реке, навстречу боту «Игарец», в изнеможении остановившемуся на якоре, но все еще продолжающему дымить во все дыры, взбивая желтенький дымок пересеянного ветрами песка, мчались ребятишки, обутые и одетые кто во что, за ними с лаем неслась белая собака...

Телеграммы в Сушково мы не давали, да она сюда и не дошла бы, Коля, ездивший поступать в игарскую школу и там случайно подцепивший меня, выскочил на берег и, частя, захлебываясь, кричал, показывая на трап:

— Папка! Папка! Гляди, кого я привез-то!..

Отец затоптался на месте, заколесил ногами, засуетился руками, сорвался вдруг, легко, как в молодости, побежал навстречу, обнял меня, для чего ему пришлось подняться на цыпочки, неумело поцеловал, чем

смутил меня изрядно — последний раз он облобызал родное чадо лет четырнадцать назад, возвратившись с великой стройки Беломорканала.

— Живой! Слава богу, живой! — По лицу родителя катились слабые, частые слезы. — А мне кто-то писал или сказывал, будто погиб ты на фронте, пропал без вести, ли че ли...

Вот так вот: «не то погиб, не то пропал без вести, ли че ли...» Эх, папа! папа!..

Мачеха все так же отчужденно стояла на приплеске, не двигаясь с места, чаще и встревоженней дергалась ее голова.

Я подошел, поцеловал ее в щеку.

— А мы правда думали, пропал, — сказала она. И не понять было: сожалеет или радуется.

— Я женат. У меня своя семья. Заехал повидаться, — поспешил я успокоить родителей и, почувствовав ихнее да и свое облегчение, обругал себя: «Все ищешь, недотыка, то, чего не терял!»

Ребятишки, лесные, диковатые от безлюдья, не сразу, но привыкли ко мне, а привыкнув, как водится, и прилипли, показывали удочки, самопалы, тащили на реку и в лес. Коля не отходил от меня ни на шаг. Вот кто умел быть душевно преданным каждому человеку, родне же преданным до болезненности. За братом тенью таскался кобель по кличке Бойé. Бойе или Байе — по-эвенкийски друг. Коля кликал собаку по-своему — Боё, и, потому как частил словами, в лесу звучало сплошняком: «ё-ё-ё-о-о-о».

Из породы северных лаек, белый, но с серыми, точно золой припачканными передними лапами, с серенькой же полоской вдоль лба, Бойе не корыстен с виду. Вся красота его и ум были в глазах, пестроватых, мудро-спокойных, что-то постоянно вопрошающих. Но о том, какие умные глаза бывают у собак и особенно у лаек, говорить не стоит, о том все сказано.

Повторю лишь северное поверье: собака, прежде чем стать собакой, побыла человеком, само собою, хорошим. Это детски-наивное, но святое поверье совсем не распространяется на постельных шавок, на раскормленных до телячьих размеров псин, обвешанных медалями за породистое происхождение. Среди собак, как и среди людей, встречаются дармоеды, кусучие злодеи, пустобрехи, рвачи — дворянство здесь так искоренено и не было, оно приняло лишь комнатные виды.

Бойе был труженик, и труженик безответный. Он любил хозяина, хотя сам-то хозяин никого, кроме себя, не умел любить, но так природой назначено собаке — быть привязанной к человеку, быть ему верным другом и помощником.

Суровой северной природой рожденный, свою верность Бойе доказывал делом, ласки не терпел, подачек за работу не требовал, питался отбросами со стола, рыбой, мясом, которые помогал добывать человеку, спал круглый год на улице, в снегу, и только в самые лютые морозы, когда мокрый чуткий его нос, хоть и укрытый пушистым хвостом, засургучивало стужей, он деликатно царапался в дверь и, впущенный в тепло, тут же забивался под лавку, подбирал лапы, сжимался в клубочек и робко следил за людьми — не мешает ли? Поймав чей-либо взгляд, коротким взмахом хвоста просил его извинить за вторжение и за псиный запах, в морозы особенно густой и резкий. Ребятишки норовили чего-нибудь сунуть собаке, покормить ее с руки. Бойе обожал детишек и, понимая, что нельзя малым людям, так нежно пахнущим, учинять обиду отказом, но и пользоваться их подачками ему не к лицу, прижавши уши к голове, смотрел на хозяина, как бы говоря: «Не польстился бы я на угощение, но дети ж неразумные...» И не получив ни дозволения, ни отказа, однако угадав, что хозяин хоть и не благоволит баловству, однако ж и не перечит, Бойе вежливо сни-

мал с детской руки замусоленный осколочек сахару или корочку хлебца, чуть слышно хрустел под лавкой, благодарно шаркал языком розовую ладошку, попутно и лицо, да и закрывал поскорее глаза, давая понять, что он насытился и взяла его дрема. На самом же деле за всеми наблюдал, все видел и слышал.

С каким облегчением кобель вываливался из избяной утесненности, когда чуть теплело на дворе. Он валялся в снегу, отряхивался, выбивая из себя застойный дух тесного человеческого жилья. Подвявшие в тепле уши снова ставил топориком и, озырнувшись на избу — не видит ли хозяин, бегал за Колькой, цепляя его зубами за телогрейку. Колька был единственным на свете существом, с которым Бойе позволял себе играть, да и то по молодости лет, после отрекся от всяких игр, отодвигался от ребятишек, поворачивался к ним задом. Если уж они совсем неотвязны делались, не очень чтобы грозно, скорее предупредительно, заголял зубы, катал в горле рык и в то же время давал взглядом понять, что досадует он не со зла, от усталости...

Без охоты Бойе жить не мог. Если отец или Колька по какой-либо причине долго не ходили в лес, Бойе ронял хвост, лопоухо опускал голову, неприкаянно бродил, никак не мог найти себе места, даже повизгивал и скулил, точно хворый.

На него кричали, и он послушно смолкал, но томленье и беспокойство не покидали его. Иногда Бойе один убегал в тайгу, подолгу там пропадал. Как-то припер в зубах глухаря, по первому снегу вытропил песца, пригнал его к бараку и до того загонял бедную зверушку вокруг поленницы дров, что, когда на гам и лай вышел хозяин, песчишко сунулся ему меж ног, отыскивая спасенье и защиту.

Бойе шел по птице, по белке, нырял в воду за подраненной ондатрой, и все губы у него были изорваны

бесстрашными зверьками. Он умел в тайге делать все и соображал, как не полагалось животному, чем вбивал в суеверие лесных людей — они его побаивались, подозревая нечистое дело. Не раз спасал и выручал Бойе Кольку — друга своего. Тот однова так забегался за подранком — глухарем, что затемняло в тайге, и замерз бы лихой охотник в снегу, да Бойе сперва отыскал, затем привел к нему людей.

Было это ранней зимой, а по весне Колька приволокся на глухое озеро пострелять уток. Бойе обежал лесом озеро, прошлепал по мелкому таю, остановился на обмыске и замер в стойке, глядя в воду. «Чего-то узрел!» — насторожился Колька. Бойе приосел в осоке, пополз к урезу берега, вдруг пружинисто взметнулся, бултых в воду! «Вот дурень! — улыбнулся Колька. — Засиделся коло дома, балуется». Но Бойе тащил что-то в зубах, бросил на берег, отряхнулся. Колька приблизился и опешил — в траве каталась щучина килограмма на два. Бойе ее лапой прижал, ухмыляется.

Услышав этакое сообщение, папа хотел дать охотнику порку за вранье, но Колька настоял сходить еще раз на озеро, потом, мол, лупцуй, если набрехал. Когда Бойе выпер вновь из воды щучищу, папа, которого вроде бы ничем уже было не удивить на этом свете, развел руками: «Чего за свою бурную жизнь ни перевидел, — говорит, — приключений каких только не изведал, однако подобного дива не зрел еще. Бестия — не кобель! Раньше бы меня повесили вместе с собакой на лиственнице, або утопили обоих — за колдовство, привязавши к одному камню...»

В ту пору часть буксирных пароходов ходила еще на дровах. Надолго причалив к берегу у Сушкова, суда запасались топливом, которое тут зимами ширкал наезжий люд, все больше ссыльный.

Был Бойе большой любитель встречать и провожать пароходы. Однажды он забежал на буксир,

отыскивая отца, подавшегося разведать насчет выпивки, и, пока хозяин искал горючку или пиво, а кобель искал хозяина, деляги с буксира поймали его на поводок. Никогда не кусал Бойе людей и не знал, что иной раз укусить их следовало бы. Пароход набрал дров, загудел и наладился отваливать. Тут и хватилась семья — нет кормильца и сторожа. Покричали его, позвали — не откликается. Заревели ребятишки в голос, мачеха заревела — пропадать без собаки. Папа чалку не отдает. Капитан штрафом грозится за задержку судна. Ругались, ругались пароходные люди, но все же подали трап. Весь буксир обошел, обшарил поднабравшийся папа — нет собаки. И тогда он решительно крикнул:

— Ко мне, Бойе!

И тут же из машинного отделения буксира раздался рыдающий голос кобеля. Конфуз и паника были на пароходе, потому что папа рвался пальнуть из ружья по рубке капитана, но семья висела на нем, отымала ружье. Папа все же пальнул дробью вослед кораблю, да не достал, тот уже был далеко от берега.

Бойе отводил глаза, виновато вилял хвостом, стыдясь оплошки. К пароходам он с тех пор близко не подходил. Сядет на подмытом приплеске, посматривает на пароход и озирается на кусты, дескать, чуть что, дерану в лес, только меня и видали!

К поре моего свидания с семьей должность десятника на дровозаготовках крепко уже утомила папу, душа его жаждала перемен, бурной деятельности — замышлял он податься в начальники рыбного участка, так как по сию пору считал себя непревзойденным специалистом по обработке рыбы.

Я отговаривал родителя — только что был опубликован грозный, карающий указ о финансовой и иной ответственности, толковал ему о том, что семья, слава богу, при месте, от тайги питается мясом, рыбой, яго-

дами и орехами, мол, воздвиг досрочно Беломорканал и довольно с него трудовых подвигов, на что родитель ответствовал коротко и решительно: «Яйца курицу не учат!» И вскоре после моего отъезда из Сушкова подался-таки на руководящий пост.

Через год я получил от него письмо, которое начиналось словами: «Пишу письмо, — слеза кати́тся...» По лирическому запеву послания не составляло труда заключить: папа опять проживает в «белом домике». И снова — в который раз! — затерялся, запропал след родителя, оборвалась непрочная, всегда меня мучающая связь с нашей нескладной и неладной семьей.

Лет десять спустя после встречи с отцом и семьею в Сушкове попал я на Север по творческой командировке. На сей раз Бог меня миловал — в Игарке ничего не горело. Последний раз пожар в городе был неделю назад и уничтожил не что иное, как позарез мне нужное заведение — гостиницу. Местные газетчики поместили меня в пионерлагерь, располагавшийся на мысу Выделенном — самом сухом и высоком здесь месте, с которого отдувало комаров, и детишки спали в домиках без пологов.

Утром я пробудился по горну, дождался, когда смолкнет ребячий гвалт, и отправился умыться на Енисей. Вышел, гляжу — сидит на крашеной скамейке худенький быстроглазый парень с красивым живым лицом, в кепке-восьмиклинке и приветливо улыбается.

Я заозирался вокруг — никого нигде не было, и тогда изобразил ответную улыбку. Паренек бросился мне на шею, сдавил ее костлявыми руками и, как бабушка из Сисима десять лет назад, библейски возвестил:

— Я брат твой!

Коля был и остался заморышем-подростком, хотя уже сходил в армию, выслужился до старшего сер-

жанта. Не видавший добра и ласки от родителей, он искал ее у других людей. Где со слезами, где со смехом поведал он о том, как жили и росли они после моего приезда в Сушково.

Попав на руководящую должность, папа повел бурный образ жизни, да такой, что и не пересказать, будто перед всемирным потопом куролесил, кутил и последнего разума решился.

Однажды поехал он на дальние тундровые озера, на Пясину, где стояли рыболовецкие бригады, сплошь почти женские. Питаясь одной рыбой, они ждали денег и купонов на продукты, хлеб и муку. Но папа так люто загулял с ненцами по пути к озерам, что забыл обо всяком народе, да и о себе тоже. Олени вытащили из тундры нарты к станку Плахино. На нартах, завернутый в сокуй и медвежью полсть, обнаружился папа, черный весь с перепоя, заросший диким волосом, с обмороженными ушами и носом. За нартой развевались разноцветные ленточки, деньги из мешка и карманов рыбного начальника сорились. Ребята давай забавляться ленточками, подбрасывать, рвать их, но прибежала мачеха, завыла, стала рвать на себе волосы — ленточки те были продуктовыми талонами, деньги — зарплата рабочим-рыбакам.

Пропита половина. Чем покрывать? Папа пьяный-пьяный, но смикитил: на озера, в бригады ехать ему нельзя — разорвут голодные люди, под лед спустят и рыбам скормят. Вот и повернул оленей вспять. Но все равно хорохорился, изображая отчаянность, кричал сведенным стужей ртом: «Всем господам по сапогам!..», «Мореходов (начальник рыбозавода) друг мой верный! И мы с Мореходовым на у́рок положили...» Урками начальник рыбного участка называл бригадников, волохающих на тундряных озерах немысленно тяжелую работу — пешнями долбят двухметровый лед и, пока доберутся до воды, делают три уступа,

майна скрывает человека с головой. И все же работают, не отступаются, добывают ценную рыбу — чира, пелядь, сига.

Видеть папину дурь, слушать его было на этот раз совсем неловко даже детям, все понимали, да и он тоже: несдобровать ему.

Судил начальника рыбного участка и бухгалтера выездной суд в клубе станка Плахино. Двадцать четыре года отвалили им на двоих за развеселую руководящую жизнь. После суда папу отправили этапом на строительство моста через Енисей — на Крайнем Севере возводилась железная дорога.

Строй заключенных спускался по игарскому берегу к баржам. Колька стоял в сторонке, дожидаясь отца, чтобы передать ему пачку махорки. Мачеха с ребятами, приехав следом за отцом в Игарку, поселилась у знакомых и заболела, свалилась от потрясения, головой стала маяться, совсем уж расшатанно потряхивала ею, судорожно дергалась худой, птичьей шеей. Задергаешься с пятью-то ребятами, без угла, без хлеба, без хозяина, какой он ни на есть. Осунувшийся лицом Колька отыскивал взглядом отца — понимал парнишка: мыкаться им, ох, мыкаться. Из-за слез не вдруг различил Колька отца в колонне. Зато Бойе сразу увидел его, возликовал, залаял, ринулся в строй, бросился отцу на грудь, лижет в лицо, за фуфайку домой тянет. Замешкался, сбился строй, и сразу клацнул затвор. Отец, сделавшийся смирненьким и виноватым, загородил собою Бойе.

— Это ж собака... В людских делах она не разбирается... — И, приметив плачущего Кольку, уронил взгляд в землю: — Стрелять не собаку, меня бы...

Колька с трудом оттащил Бойе в сторону. Кобель не понимал, что происходит и зачем уводят хозяина, завыл на всю пристань да как рванется! Уронил Кольку, не пускает хозяина на баржу, препятствует ходу.

Молодой чернявый конвоир приостановился, отбросил собаку пинком в сторону и, не снимая автомата с шеи, мимоходом, в упор прошил ее короткой очередью.

Бойе словно переломился в спине, стремительное его тело забилось передней половиной, заскребло, зацарапало лапами дорогу. От пыли собака сделалась серой. Заключенные старались не наступать на умирающего пса, перешагивали через него, смешали пятерки. Конвой заволновался, бегом погнал по трапу подконвойных в трюм баржи. Плакал отец, труся по трапу в гуще людей. Плакал Колька, пластом свалившись на Бойе.

Бойе еще поднял голову из торфяной пыли, размешанной ногами, отыскивая глазами хозяина, но увидел человека с коротеньким ружьем, обвел приметливым, быстрым взглядом мыс острова с бедной заполярной растительностью, неба серенького клок и стену лесов за Енисеем, всегда заманчивых, наполненных тишиной и тайнами, которые Бойе так любил и умел разгадывать. Родившийся для совместного труда и жизни с человеком, так и не поняв, за что его убили, пес проскулил сипло и, по-человечьи скорбно вздохнув, умер, ровно бы жалея иль осуждая кого.

И впрягся Колька в лямку, которую никогда не желал надевать на себя папа. Зимой ли заполярной, в трескучие морозы, в мокромозглую ли осень, в дурное ли вешнее половодье парнишка в тайге, на воде, с ружьем, с сетями — кормил как мог семью, помогал матери. Однажды столкнулся нос к носу с только что поднявшимся из берлоги медведем. Не успевши перезарядить одноствольное ружье, пальнул дробью в зверя. Пока тот, ослепленный, катался по земле, пока ревел, отбиваясь от собаки, парнишка стал за дерево, заложил патрон с пулей и встретил медведя, ринувшегося на него.

Было охотнику и кормильцу в ту пору четырнадцать лет, и долго тащить на себе такой возище у него не хватило сил. Был он еще слишком жидок и скоро надорвался. Пришлось мачехе отдавать младших ребятишек в детдом, и хватили они той самой жизни, коей стращали когда-то родители старшего парня, стало быть меня, и не всем братьям и сестрам та жизнь задалась...

Поведав мне все это, братан сорвался со скамейки пионерлагеря, схватил мой чемоданишко и поволок меня в город. Всю дорогу он, захлебываясь, жестикулируя руками — это у всех у нас от папы, говорил, говорил и вроде бы наговориться не мог. Папа неизвестно где, а жесты, привычки его, и не самые лучшие, навсегда отпечатались в нас.

Мачеха, выйдя снова замуж, выехала с новой семьей на магистраль. Коля задержался в Игарке, работал таксистом, только что женился, но ни о молодой жене, ни о работе не поминал, мысленно пребывал в лесу, на реке. На другой же день он утартал меня за старую Игарку, на озера, и мы там — порода-то одинаковая! — нахлестали уток, но достать их не могли. Стояло безветрие, озера заросшие, уток не подбивало к берегу. Братец, не долго думая, снял сапоги, штаны, закатал рубаху на впалом животе с наревленным в детстве пупом и побрел. Я ругался, грозил никуда больше с ним не ездить — на дне заполярных озер, под рыхлым торфом и тиной вечный лед, и ему ли, с его «могучим» телосложением...

— Ниче-о, ниче-о-о-о! — всхлипывая от холода, брел Колька напропалую, вглубь. — Привычно. — Да еще поскользнулся и в ответ на мою ругань выдал: — Худ в воду бредет, худ из воды вылезает, худ худу бает: ты худ, я худ, погоняй худ худа...

— У-ух! — оступился братец, ахнул, ожгло его водой, и поскорее на берег, не закончив присказки,

однако с десяток птиц сумел ухватить. До красноты ошпаренный студеной водой, обляпанный ряской, тиной и водорослями, он плясал возле костра, а наплясавшись и чуть обыгав, стал намекать: не попробовать ли еще? Вода сперва только холодная, потом ничего, терпимо.

Я заорал на него лютей прежнего, и братец с сожалением оставил свой замысел.

Мы ждали ветра, чтоб он подбил уток к берегу озера, но дождались шторма. Без припасов сидели двое суток по другую сторону Енисея, питаясь без соли испеченными в золе утками. Во всех замашках брата, в беззаботности его, в рассказах, сплошь веселых, в разговорах с прибаутками, да и в поступках тоже — дружил с одной девушкой больше года, женился на другой, знаком с которой был не то три, не то четыре вечера, не считая затяжного выезда на такси за город, — во всем этом было много от затерявшегося родителя. Лицом братец — вылитый папа, но больше всего было все же в нем мальчишки. Не прожитое, не отыгранное, не отбеганное детство бродило в парне и растянулось на всю жизнь... Видать, природой заказанное человеку должно так или иначе исполниться.

Коля заявил: точит его мечта махнуть зимой поохотничать в тундру. На машине работает без души, в городе ему скучно. Отговаривать его было бесполезно, от этого он только пуще воспламенялся, в братце бурлила отцовская кровь.

В пору золотой осени, когда на большом самолете я мчался по ясному небу в Москву учиться уму-разуму на литературных курсах, братец мой, Николай Петрович вкупе с двумя напарниками бултыхался средь густых, уже набитых снегом, затяжелевших облаков в дребезжащем всеми железками гидросамолетике, держал курс на Таймыр — промышлять песца. Самолет лодочным брюхом плюхнулся на круглое

безымянное озеро с пологими, почти голыми берегами, спугнув с него сбитых в стаи уток и гусей. Охотники соорудили плот из плавника, перевезли на нем провизию и вещи на берег. Летчики, настрелявшись всласть, собрали дичь с воды, пожали руки артельщикам, жаждущим охотничьего фарта, и улетели, чтобы прибыть сюда вновь в середине декабря тем же самолетиком, но уже переставленным на лыжи.

Старая подопревшая избушка, срубленная много лет назад на Дудыпте — одном из многочисленных притоков реки Пясины, нуждалась в большом ремонте. Напарники поручили Коле ставить сети, ловить рыбу на «накроху» и на еду себе и собакам, а сами принялись подрубать, латать и обихаживать зимовье.

Выметав две мережи: одну на озере, другую против избушки на Дудыпте, Коля принялся долбить яму, в которой надлежало запарить пойманную рыбу, дабы от нее распространялась вонь, и как можно ширше. Долго ли, коротко ли копал рыбак яму, но сети не давали ему покоя, хотелось узнать, что в них попалось. Он спустился к Дудыпте — сети не видать. Ладно привязать охвостку догадался за камень на берегу, иначе не нашел бы мережи. Попробовал подтянуть сеть с плота — она не сдвинулась с места. «Зацепилась!» — огорчился Коля и начал перебираться по тетиве, пытаясь отцепить мережу, но как только отплыл от берега, взглянул вглубь, чуть с плота не сверзился — мережу утопила рыба! Втроем едва выволокли артельщики сеть из воды: нельмы, чиры, сиги, щуки зубатые — всё рыба отборная. На полотне мережи обнаружились «окна» — человек пролезет! Решили мережу проверять проворной, иначе одни веревки от сети останутся.

На озере попалась жиром истекающая, толстоспинная пелядь и много сорной рыбешки. Постановили пелядь заготавливать на зиму, если время будет, и домой повялить этой вкусной рыбочки, остальной же

весь улов на прикорм: хорошая накроха — половина дела в промысле песца ставными ловушками.

Две ямины забили накрохой старательные охотники, сами наелись до отвала жареной и копченой рыбки, жиру натопили бочонок, на глухую пору зимы да и от снежной слепоты рыбий жир — верное средство. Погода стояла ветреная, холодная, все вокруг прозрачно до хруста, накроха в яме не закисала. Только эта забота беспокоила охотников. Порешили: коль не сопреет рыба в ямах, доводить ее до вони в тепле избушки, пусть будет душина — стерпят. От безделицы шатались по тундре, голубику, кое-где на кустах оставшуюся, обдаивали, клюкву из моха выбирали. Верстах в десяти от зимовья, средь выветренных, болотом поглощенных скал островок лиственного леса, в нем краснела брызганка — брусника. Лесок с бабистыми комлями, изверченный, суковатый, изъеденный плесенью, брусника изморная, мелконькая, а все лакомство, все радость и от цинги спасение. Полную бочку ягод набрусили, водой ее отварной залили умельцы, чтоб не прокисла ягода без сахара, дров наплавили — всю зиму жечь не пережечь, бражонку на голубике завели, чтоб спирт не трогать до «настоящей» работы.

Удачно начался сезон, ничего не окажешь! Настроение у Коли и у молодого напарника Архипа боевое и даже шаловливое. Что ни прикажет старшой, парни со всех ног бросаются исполнять. Старшой в артели — человек бывалый, и войну и тюрьму прошел. В этих краях, у озера Пясино долбал мерзлую землю, хаживал с рыбаками в устье Енисея, нерпу и белугу промышлял возле Сопочной карги. Пробовал на лихтере шкипером плавать — не поглянулось: инвалидная работа, привык к жизни опасной, напряженной, беспокойная душа движенья, просторов и фарта жаждет.

Полные добрых предчувствий, молодые охотники бегали по тундре, шарились в лесочке, постреливали

по озерам, рыбку в Дудыпте добывали, дрова ширикали — и все им хаханьки да прибаутки, и не замечали они — старшой день ото дня становился смурней и раздражительней. Парни над ним шутки шутили: как старшой на чурку сесть уцелится, они ее выкатят — бугор врастяжку, парни в хохот; а то ложку у старшого спрячут либо цигарку спичками начинят — старшой ее прикуривать, она ракетой изо рта! Вечерами, а они день ото дня становились темнее и длиннее, парни травили анекдоты и вслух мечтали: «Вот добудем песца, вылетим в Игарку и тебя, бугор, оженим на бабе, у которой семь пудов одна правая ляжка, тридцать два килограмма грудя! Смотри вперед смело, назад не обертывайся, то не горе, что позади!..»

«А то горе, что впереди! — подхватывал про себя старшой. — Верно, парни, верно. И как вы себя покажете?..»

В тундре мор лемминга, так по-научному зовется мышь-пеструшка — самый маленький и самый злой зверек на севере; всему живому в тундре пеструшка — корм, даже губошлеп олень, попадись она ему, сжует и не задумается, а песцу-прожоре это главное питание. Несло мертвые тушки леммингов по реке, оттого и набилась в Дудыпту рыба — жирует. Еще в тот, в первый день, когда ошалелый Колька рыдающим голосом позвал их к сети, екнуло и заскулило у старшого сердце: не будет лемминга — не будет песца. Ход его, миграция, по-научному говоря, много таит всяких загадок, да навечно ясно и понятно одно: держится песец, как и всякая живая тварь, там, где еда. Не только проходной, но и местный песец откочует — голодной смерти кому охота?

При первых же заморозках, отковавших железную корку на земле и звонкий лед на озерах, появился широкий путаный нарыск зверьков по тундре. Песец выедал остатки лемминга, землеройку-мышь, отсталую

больную птицу и все, что было еще живо и пахло мясом. Блудливые песцы сделали набеги на ямы с накрохой. Колька с Архипом весело гонялись за песцами, палили из ружей — десяток зверьков угрохали, крепко при этом подпортив шкурки. «Вот дак да! — ликовали парни. — Песец-то, песец-то на стан лазом лезет!»

И залез бы. Разорил запасы, голодом уморил охотников, если б старшой лопоух был. Он еще по первой пороше, осмотрев густую песцовую топанину вокруг зимовья, велел поднять весь провиант на чердак, крышки бочек придавить камнями, ямы с накрохой завалить булыжинами и плавником. Не доверяя беззаботным напарникам, старшой сам зорко стерег муку и соль. Расставив по углам зимовья мышеловки, ударно промышлял мышей. И вот однажды мыши исчезли, смолк ночной воровской шорох, царапанье, бодрый писк, и тогда свалился старшой на нары, вытянулся, закинув руки за голову, не курил, не спал, не разговаривал, много томительного времени проведя в раздумье, обыденно, даже чересчур обыденно возвестил:

— Песца, парни, однако, не будет.

Охотники были сражены. Холодов ждали, ветров, одиночеством тяготились уже, но развеивались надеждой: «Вот пойдет песец, некогда скучать будет!»

— Не будет охоты, — беспощадно рубил старшой, — ходовый песец минет эти бескормные места, местный, прикончив мышей и все, что дается зубу, тоже откатится с севера, пойдет колесить по земле в поисках корма.

— Что же теперь делать?

— Можно уйти, парни. Сделать нарту, погрузить продукты, запрячься в лямки и, пока неглубоки снега...

— Сколько идти?

— Я как тут прежде охотился? Иду, а за мной ружья несут, — усмехнулся бугор, — и карт не выдавали...

Парни хоть и бесшабашны, но хватили кой-чего в жизни, о тундре наслышаны: идти много-много немереных километров, без палатки, без упряжных собак. Три дурака случайно, на ходу купленных, ловко ловили мышей, заполошно гоняли зайцев вокруг озера, рыскали по тундре, распугивая последнюю живность, жрали непроворотно рыбу, грызлись меж собой. Но и дураков двух уже не стало — одного порвала проходная стайка полярных волков, другой, водоплав и лихач, метнулся в полынью за уткой-подранком, до морозов державшейся на воде, и до того себя и утку загонял, что вконец обессилел, выползти наверх не мог, и его вместе с добычей в зубах затянуло под лед. Последнюю из трех собак старшой приказал беречь пуще глаза.

— Какое хоть время пройдем?

Раздражение, но пока еще, слава богу, не враждебность. Старшой свернул цигарку, неторопливо прикурил и, сунув сучок в поддувало печки, долго не отрывал взгляда от красно полыхающего огня.

— И этого не знаю, парни, — вздохнул старшой. — Если пурги не будет, если идти изо всех сил, если не закружимся, если не перегрыземся, если удача от нас не отвернется, маракую, за полмесяца дойдем... — Говоря негромко, но внятно, старшой особо напирал на «если», будто кружком его обводил, заставляя вслушиваться, взвешивать, соображать.

— Если... если... — уловив смуту в словах старшого, заворчали парни, и тон у них такой, будто надул их бугор и во всем виновен перед ними. А виноват и есть! Насулил, губы мазнул отравой фарта, подзадорил, растревожил и что?! Чувство неприязни, желание свалить на кого-то пока еще не беду, всего лишь неудачу забрезжило и во взглядах, и в разговорах молодых охотников. Разъедающая ржавчина отчуждения коснулась парней, начала свою медленную разрушитель-

ную работу. Сами они пока не понимают, что это такое, пока еще «каприз» движет ими — конфетку вот посулили и не дали, — а не чувство смертельной опасности. Смутная тревога беспокоила парней, но они подавляли ее в себе, раздражаясь от этого непредвиденного и бесполезного, как им казалось, усилия. Они готовились к работе, ими двигало приподнятое чувство ожидаемой удачи, охотничьего чуда, но в зимней, одноликой и немой тундре даже удачный промысел не излечивает от покинутости и тоски. Случалось, опытные промысловики переставали выходить к ловушкам. Оцинжав, заваливались на нары и, подавленные душевным гнетом, потеряв веру в то, что где-то в миру есть еще жизнь и люди, равнодушно и тупо мозгли в одиночестве, погружаясь в марь вязкого сна, дальше и дальше уплывая в беспредельную тишину, избавляющую от забот и тревог, а главное, от тоски, засасывающей человека болотной чарусой. Старшой и пошел оттого артельно на промысел — трое не двое, будет людней, будет бодрей, да и парни вроде не балованные, трудовые парни, крепкой кости, брыкливые, веселые — пойди песец, не отвернись от них удача, перемогли бы и тундру и зиму.

— А если останемся? — дошел до старшого настойчивый вопрос. Парни могли еще позволять себе досадовать, вроде бы он, старшой, мамка им, а мамка же на то и мамка, чтоб терпеть от детей своих наветы, обиды да отводить напасти от них и от дома.

— Если останемся? — переспросил старшой и замолк. Парни ему но мешали. Некуда торопиться. Дотянув цигарку, бугор не растоптал ее на полу, как напарники, заплевал чинарик и опустил в ржавую консервную банку, будто в копилку, — навечно въевшаяся привычка бродячего человека дорожить на зимовье не только каждой крохой хлеба, но и табачиной. Поднялся старшой от печки, согнулся под потолком,

щедровитое лицо его, будто вытопленное, обвисло складками — разом постарел бугор. В себя ушедшим взглядом старшой скользнул по оконцу — бело за ним, снега поло́го и бескрайно лежат, средь них избушка одиноким челном плывет, ни берега вокруг, ни пристанища — пустота кругом! Ступи с палубы этого челна, обвалишься и вечно будешь лететь, лететь... — Кто его, зверя, знает, ребята, тварь Богова... Может, и пойдет еще? — Старшой говорил вяло, словно не о главном, словно главное на уме: он перестал лаяться, не употреблял даже слова «черт» — иная, чем прежде, мораль двигала старшим. — В тридцать девятом годе взял песец и через станки и населенные пункты пошел! В Игарке на помойках ловили его, обормота, бабы-укладчицы на лесобирже меж штабелей гоняли, досками грохали... Загадка природы. — Сгорбился у печки бугор, кряхтел, курил. В избушке слой дыма, что окуневый студень — хоть ножом режь... — Ну а если песец не пойдет... Можем и постреляться...

— Как так?

— Очень просто, из ружей. — Старшой почесал голову: — Не растолковать мне. Маетой такая штукенция рождается... Решать надо: уходить — так не мешкая, останемся — разговор отдельный будет. На размышления вечер. Разбежимся в разные стороны, пораскинем умом. Крепко мозгуйте, парни, напрягите башки, коли есть чего в них напрягать...

Весь вечер бродили парни по тундре, ночи прихватили. Погодка стояла самый раз, безветренная, морозец покалывал, прочищал ноздри, глотку, легчил душу и голову. Вольно было застоявшемуся телу двигаться, катиться, лететь на лыжах, видно так далеко, что земля и на самом деле шаром вдали закруглялась, на горбине шара ровно бы сторожевые вышки мерцали заледенелыми оконцами — то сверкал лед на приморских скалах. И если долго на них смотреть — скалы начинали двигаться, рассыпаться. Над оледенелыми

камнями морского побережья ненадолго зависло солнце, ровно бы лишним сделавшееся на небе. Висело, висело и исчезло. Не закатилось, не опало за горизонт, вот именно исчезло — его вобрал в себя без остатка, всосал, как старую, измыганную пустышку, узенький красноватый зев, приоткрывшийся над скалами, и тут же всё: и онемелая аленькая щель, и скалы, и белые снега, над которыми какое-то время еще трепетал, догорал красный клок неба, заволокло сгустившимся мороком.

Тундра погрузилась в глубокую тишину. Тени, пока еще недвижные и тоже бесшумные, опустились на нос сверху, придавили свет, сжали пространство. «Солнце закатилось до весны», — догадались зимовщики, и у каждого из них сердце сжалось в груди, холодом ни на что не похожей разлуки опахнуло нутро, и такое осязаемое чувство беспросветности охватило души охотников, что они, бродившие нарозь друг от друга, не сговариваясь, порешили: «Уходим!»

Но в тундре что-то шевельнулось, стронулись снега, закачалось пространство вокруг, то там, то тут начало чиркать искрами, и небо, только что мутное, грузное, пустое, вдруг растворило врата прозрачным и переменчивым светом. Жуть и восторг охватывали душу. Надо бы бежать, но не было над собой власти. Середь ночной сверкающей тундры, опершись на таяк, стоял Коля, стоял Архип, стоял подле избушки старшой, и все они улыбались растерянно и приветно, не понимая, что с ними, отчего такое облегчение?

К зимовью охотники вернулись разом, в позднее для этих мест время. Навстречу вывалился кобель Шабурко — звался он по фамилии хозяина в отместку за то, что слупил с охотников неслыханную цену, пользуясь их безвыходным положением.

Дыша холодным паром, парни ввалились в избушку и в один голос заявили:

— Остаемся!

— Остаться не напасть, да кабы, оставшись, не пропасть.

— Ни хрена-а! Не мы первые, не мы последние. Че нам без добычи уходить? Манатки бросать? Неустойку платить?..

— Ну, ну! Колефтиф настаивает. Колефтиф — сила!

Разогрев еду, старшой достал из запасов поллитру спирта, молча налил полную кружку, вынул нож из ножен, полоснул по руке, кровью спирт разбавил. — «Начинается!.. — Лица парней вытянулись, под кожей холод захрустел. — Накатило на старшого. Все они, эти „бывшие“, люди потрясенные и чего им на ум придет — угадай попробуй!» Цап Кольку за руку, чирк ножом по пальцу, кровь отцеживает Колькину в кружку старшой.

Архип побелел, к двери попятился, чтобы рвануть из избушки, да не успел, старшой его перехватил, тоже ему палец порезал.

Побурел спирт от крови, отвратным на вид сделался. Затосковали парни, ждут, чего дальше будет? Старшой примочил ранки спиртом, велел забинтовать пальцы, зажег свечу и, капая воском во все четыре угла зимовья, забормотал жуткую запуку: «В добрый час молвить, в худой помолчать. На густой лес, на большу воду, на свою и товаришшэв алу горячу кровь, на свой чистый подложечный пот, на живу душу слово намолвлю: пустоглаза тоска, змея костна — цинга, люто голодное, люто холодное — миньте нас, киньте нас, уйдите на посолонь, закружитесь по ветру, растопитесь от воску ярого, ослепните от огня бегучего, оглохните от слова клятвенного, околейте от креста святого! Кто бел-горюч камень — Алатырь изгложет, тот мой заговор переможет! Ни днем, ни ночью, ни по утренней заре, ни по вечерней, ни в обыден, ни мужик, ни колдун с колдуньей, ни баба, ни пожилой, ни ста-

рый, ни сама тундряная ведьма с тем словом моим, заклятым, верным не совладают, не перемогнут его. Аминь!..»

Прилепил старшой свечу к столу, умолк в изнеможении. Избушка осветилась, бодрее в ней сделалось, не то что от лучины и печки. Керосин и свечи берегли, освещались сподручными средствами, жгли чаще тряпицу в рыбьем жире. Парни на нары забрались, ноги поджали, во все глаза глядят на старшого. А он разлил спирт по кружкам, приказал двигаться к столу, поднять кружки, держать их на весу и глядеть в глаза друг дружке, пока он, старшой, будет творить клятву, и все слова повторять следом.

Парни сперва с пугливой ухмылкой, как филины, булькали, рыгали какую-то присказку насчет моря-океана, острова Буяна, зверя рыскучего, снега сыпучего, но поворотилось и на серьез:

— Будет ли, не будет ли удача — жить союзно. Поглянется, не поглянется какое слово старшого — не прекословить и зла никакого друг на дружку не копить. Все выкладай, худое ли, хорошее. День кончился, ночь пошла. Снегу на зимовье наметет — могила. Работать, двигаться и разговаривать, разговаривать. Время гиблое, не вступ ногу жить, гибель, стало быть. Долбить корыта в пастях и кулемах, если зверек попадет, не плющило б его, не погрызли б другие зверьки и мыши. Ловушек ставить больше, навального песца не будет, следует его стараньем брать, накрохи не жалеть, пусть воняет, живность приваживает. Свету мало — пятнышко за сутки, значит, бегать быстро, но беречь себя, не запариваться — один простынет, захворает — хана всем. Договор наш кровью скреплен, такой договор смертельный. Добыть бы жильной крови, выпить гольную, да, вас жалеючи, не стал тела молодые уродовать... — Старшой покидал щепоткой пальцы над кружкой, хукнул, отбрасывая из себя воздух,

выплеснул наговорное зелье в рот, утерся рукой, зажевал питье подвяленным хвостом пелядки. Молодые его связчики с отвращением выпили розовый от крови спирт, передернулись, захрустели рыбой.

— Да, вот еще что, парни, — подождав, когда они отдышутся и закусят, продолжал старшой, — соленого много не лопать, снег не хапать, с хлебом аккуратней — стряпаете, мучкой сорите. Шабурку на норму! Распустил пузо, что генерал! И помните всякий час, всякую минуту: в тундре заблудиться страшнее, чем в нехоженой тайге.

Спирт подразобрал парней, на душе отмякло, по телу благость разлилась.

— Да ладно, — остановили они старшого, — хватит права-то качать!

И потекли часы, складывающиеся в длинные сутки, сутки — в еще более долгие недели. Песец не шел. Попалось в пасти две лисы, пустобрюхих, костлявых, в худошерстной шкуре; призаблудился как-то горностай — занесло его в лесок, заваленный снегом до колючих вершин. По берегам Дудыпты и возле озера хорошо ловилась куропатка в силки, пока не задавило сугробами стланики. Но начались метели, и кончилась всякая работа. Забавлялись полярными совами. Воткнут в тундре шест или палку, на верхушку капкан приладят — сова видит в ночи и в пургу, не облетит никакую мету — ей тоже хочется на чем-нибудь твердом посидеть, покрасоваться. Ели сов. Не куропатка, конечно, мясо горчит, горелой овчиной или мышами пахнет, зато пуху, пуху от совы, пенистого, легкого, — вороха! Вот бы радости бабам, да где они, бабы-то?

Залегла зима по Пясине, по Дудыпте, по всему Таймыру, сровняла снегом впадины речек с берегами, ухни — напурхаешься, пока вылезешь. Снег еще не перемерз, рыхлый, еще лицо до крови не сечет, слава

богу. Маячившие у приморья скалы растворила, вобрала в себя все та же безгласная ночь. Лесок, островком ершившийся средь тундры, захоронило снегом. Переливались, искрили до рези в глазах снега, да небо, чем дальше в зиму, тем живее светилось и двигалось. Но уже не пугало и не завораживало северное сияние охотников, да и достигало оно земли все реже и слабей — подступала пора диких, вольных ветров и обвальных метелей. В распогодье охотники спешили при свете позарей пробежаться по ловушкам, со слабо теплящейся надеждой на удачу. Вот и ухнула полярная метель, загнала промысловиков в зимовье, запечатала их в избушке, залепила окно, закупорила дверь, загнала в снежный забой. Лишь труба стойко торчала из снега, соря по ветру искрами, клубя низкий живой дымок.

Время двигалось еле-еле, разговаривать охотникам не о чем — все переговорили; делать по дому нечего — все переделали, а ветер все дичей, яростней. Подняло снег над тундрой, воедино слились земля и небо, вместе кружась, летели они в какие-то пространствия, где никакой тверди нет, и охотничья избушка, стиснутая снегами, выплевывая трубою дым, тоже летела, вертелась средь воя, свиста и лешачьего хохота. В замороженном окне едва приметным бликом шевелился отсвет печного огня, тыкался жучком туда-сюда, отыскивая щелку в толстых натеках льда, и эта капелька света, эта звездочка, проткнувшаяся в кромешную тьму, и напоминала о стойком существовании мироздания.

Время суток — день, ночь определялись по часам да еще по Шабурке. Заспавшийся в избушке кобелишка раз в сутки просился на волю и к такой же норме приучал своих хозяев, которые безвольно погружались в молчаливость, расслаблялись от безделья, ленились отгребать снег от избушки, подметать пол и даже

варить еду. Старшой за шкирку стаскивал покрученников с нар, заставлял заниматься физзарядкой, придумывал заделье или повествовал о своей жизни, и такая она у него оказалась содержательная, столькими приключениями наполненная, что хватило рассказов надолго. Парни слушали и дивились: сколь может повидать, пережить, изведать один человек, и советовали старшому, пока делать нечего, «составить ро́ман» на бумаге. Старшой соглашался, да бумаги-то в избушке мало, всего несколько тетрадок, потом уж, на старости лет, как-нибудь засядет составлять роман, а пока слушай, парни, дальше.

Лютая зима, ветер, пронзающий не только тело, но и душу, приучают всякие необходимые отправления делать по-птичьи, почти на лету. Архип не мог приноровиться к такому вихревому режиму, трудно все в него входило, еще трудней выходило. Он до того застывал на ветру, что заскакивал в зимовье со штанами в беремя, не в силах уже застегнуть их. Однажды и вовсе подзадержался Архип на воле. Старшой выслал Колю за напарником. Набрасывая на плечи телогрейку, Коля стал полниться нежданным гневом: «Разорвало б обжору! Нашел время рассиживаться! Садану дрыном по хребту — будет знать!»

В промысловую бригаду затащил Архипа Коля. Работали они вместе в таксопарке: один шофером, другой слесарем. Архип — выходец из кержаков, хотя медлителен умом и на руку не спор, но работящ, бережлив, по возможности на свое не выпьет. Надежным, крепким, главное, послушным артельщиком казался Архип и неожиданно первым помутнел, чаще и чаще огрызается, поссориться норовит. Поначалу справлялись с собой Коля и бугор, старались не обращать внимания на брюзгу с таким редким, древним именем. Но вот стало чем-то их задевать все в Архипе, даже имя его, которым прежде потешались, сделалось им неприятно.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Бойе 5
Капля 47
Дамка 79
У Золотой карги 107
Рыбак Грохотало 136
Царь-рыба 160
Летит черное перо 188

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Уха на Боганиде 209
Поминки 273
Туруханская лилия 302
Сон о белых горах 333
Нет мне ответа 464

Литературно-художественное издание

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ АСТАФЬЕВ

ЦАРЬ-РЫБА

Ответственный редактор Екатерина Дубянская
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Елены Долгиной
Корректоры Елена Шнитникова, Ирина Сологуб
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 26.07.2018. Формат издания 75 × 100 $^{1}/_{32}$.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 21,15. Заказ № .

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.): 16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93
www.oaompk.ru, www.oaompk.рф
Тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60
E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах
на сайтах: www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/

Y-VAK-17069-06-R